

Женские судьбы.
Уютная проза
Марии Петлициной

Мария Метлицкая



Самые родные,
самые близкие



Москва
2023

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М54

Художественное оформление серии и иллюстрация
на обложке *Петра Петрова*

В оформлении фона обложки использованы
фотографии: ESB Professional,
Milosz_G / Shutterstock.com
Используется по лицензии от Shutterstock.com

Метлицкая, Мария.

М54 Самые родные, самые близкие / Мария
Метлицкая. — Москва : Эксмо, 2023. —
448 с.

ISBN 978-5-04-113051-0

Три девочки смотрят со старой фотографии: ситцевые сарафаны, пыльные ноги в разбитых сандалиях. Они веселы и беззаботны — так, как бывает лишь в детстве, когда еще не знаешь, что ждет впереди.

Годы летят быстро — и вот уже не очень молодая женщина разглядывает это фото, тоскуя по юности, по несбывшимся надеждам, по искренней дружбе, когда верили в горячие клятвы, когда не сомневались, что готовы друг за друга в огонь и в воду, когда ради любви совершали безумства, за которые расплачивались всю жизнь, а иногда — своей жизнью.

Каждая из трех девчонок на фото страстно мечтала о счастье. И все три по-своему распорядились своей судьбой, потому что счастье у каждого свое.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

© Метлицкая М., 2020

© Оформление.

ООО «Издательство «Эксмо», 2023

ISBN 978-5-04-113051-0



Самые родные, самые близкие



«Сонька, родная! Вот, пишу тебе. Занялась этим глупым делом оттого, что окончательно потеряла надежду тебе дозвониться. Представлю сейчас твоё раздражение и вижу твоё недовольное лицо. Да-да, я, конечно, знаю, что долгие телефонные разговоры ты ненавидишь. Что у тебя «устает ухо, начинает болеть голова, и вообще!». Что все это, по-твоему, потеря времени и ты лучше — а это и вправду лучше! — считаешь что-нибудь или прошвырнешься по улице.

Ты не берешь трубку неделю. Нет, даже две! Вот я и решилась.

Я решилась на это от большой тоски и печали и от огромного моего «скучания» по тебе. Подсчитала — мы не виделись ровно три года. Три года я не обнимала тебя, не заглядывала тебе в глаза, не прислушивалась к тебе, не ловила жадно твои «штучки» — твой морок, разящий наповал, твою жесткую иронию, твой сарказм. И не любовалась твоим прекрасным лицом.

Грусть. Ну и самое главное — я не разговаривала с тобой. А для меня это как воздух, как хлеб. Как сама жизнь. Ну вот я и решилась.

Да и потом — ну, ты все знаешь сама — поговорить и поделиться мне больше не с кем. Совсем. Мама — ну, ты понимаешь. Она уже давно, лет пять, между небом и землей, в своем странном мире. Наверное, это нормально. Линка — это вообще за пределами. Она и сама по себе штучка та еще, а уж сейчас, в этом ужасном возрасте! А Ася... Ася вообще не хочет общаться. Ни с кем. Смотреть на это невыносимо. Ася, моя добрая и прекрасная девочка!.. И еще — я очень скучаю по Ганке. Очень. Как без нее тяжело! Знаешь, я вот как-то подумала: вы, ты и Ганка, — это и есть лучшее, что было в моей жизни. Самые родные, самые близкие, ты и она. Нет, правда. Не родители, не мужья, не любовники, ха-ха! Мои жалкие любовники числом два. Ты засмеялась? Ну слава богу, я тебя развеселила. Даже не дети. Потому что все они приносили мне одни страдания, печали и головную боль. Нет, были, конечно, и радости. Но как-то мелко. Растворились они, разлились, утекли мелким ручейком в океане всего остального дерьма. Вот так.

Самые лучшие и дорогие воспоминания — лето, наш двор и мы. Ты, Ганка и я. Нам лет по восемь. Мы сидим на краю песочницы и, как всегда, болтаем — делимся секретиками и меч-

тами, планами на ближайшее время — например, на два часа, — и на всю остальную, такую длинную, жизнь. Наши секреты смешные и незначительные. Наши мечты наивные. Наши планы — сплошные фантазии. Мы в почти одинаковых сарафанах — обычных сатиновых сарафанах довольно мерзкой расцветки — советский легпром. Мы в дурацких и страшных сандалиях, помнишь? Ох, эти «испанские сапожки»! Три первых дня пытка, оскорбление вкуса, а потом ничего, разношивали и привыкали. И через пару недель они уже слетали с наших загорелых, ободранных ног.

Мы мечтаем. Знаешь, у меня эта картинка перед глазами. Такая грусть! Мы, маленькие и глупенькие девочки, почти уверенные в том, что за углом нас ожидает волшебная и прекрасная жизнь! Топчется в нетерпеливом ожидании — когда же, когда? Когда эти дурочки подрастут? И уж тогда вывалю на них все свои подарки, все сюрпризы! Все заготовки свои. Осыплю счастьем, как новогодним конфетти. Слава богу, мы пока ничего не понимаем. Иначе — кранты.

Ганка водит ободранным носом босоножки по земле, вычерчивая какие-то загогулины. Молчит. Она всегда поначалу молчит. Но мы-то знаем: она самая смелая и самая шкодливая из нас троих. Вот она-то точно ничего не боится. «Оторва», называет ее моя бабушка. Ганка за любой кипиш, лишь бы не было скучно.

Она еще и самая хорошенькая из нас — прости! Нежное тонкое лицо, изящные скулы. Какой абрис, а? Изумленные глаза фиалкового цвета, пять веснушек на носу — помнишь, мы сосчитали? И волосы — в медь, искрящиеся на солнце, крупными завитками падающие ей на глаза. Как они ее раздражали, помнишь? Как она завидовала тебе — твоим гладким, прямым, ослепительно-черным. Индейским, как она говорила.

Ганка молчит — болтаем ты и я, две болтухи. Учителя нас ругали за это: «Матвеева и Литовченко! Хватит болтать!» Эх, замечания в дневники мы ловили, по-моему, через день.

Мы бежим за мороженым к метро. Выскребаем из карманов, полных песка, фантиков от конфет, раскрошенного печенья, каких-то подобранных бусин, мелочь, копейки. Иногда хватало на три пачки. Иногда на две. Ну и ничего, разделим две на троих! А если уж мы оказывались «страшно богаты», то тогда хватало еще и на три пирожка — с повидлом, самых дешевых, по пять копеек.

Ах, какой у нас праздник! Мы облизываем грязные, сладкие от повидла пальцы, запиваем все это газировкой из автомата — три копейки с сиропом, щекотно в носу и в горле, — и мы счастливы!

Нам по четырнадцать, и мы снова сидим во дворе. Правда, теперь уже не в песочнице — там нам неловко, там малышня. Сидим мы на

лавочке. Нашей любимой лавочке на «заднем» дворе. И снова мечтаем. Нам уже нравятся мальчишки, мы влюблены. Ты — в Алешу Фролова, жуткая судьба, да? Такая ранняя и нелепая смерть. Я в Гришку Рабиновича. А Ганка, поросенок, молчит! Но мы пытаем ее, укоряем, стыдим, что подружки так себя не ведут, что это нечестно. А она мотает красивой рыжей башкой:

— Да отстаньте вы, дуры! На фиг мне эти ваши любви? На фиг эти идиоты? Нет, вы взгляните! Вот твой Фролов, — говорит она тебе с возмущением, — и что в нем хорошего? Коротышка и тупица! Ах, синие глазки, ах, мускулатура! Баран. Сонька! Ты не видишь, что он тупой? Дура ты, Сонька!

Ты обижаешься — я бы тоже обиделась. Потому что Лешка Фролов вполне себе ничего — мачо такой, как бы сказали сейчас.

Потом она берется за меня и бедного Гришку:

— Ну а твой Рабинович! Нет, он умный, конечно. А уж по сравнению с Фроловым, — и осуждающий взгляд на тебя, — так просто Спиноза! Но тощий такой, носатый, неловкий и несовременный. Вот как ты с ним пойдешь в ресторан? Он же одет как чучело!

Я вздрагиваю от неожиданности.

— В какой ресторан? — испуганно спрашиваю я.

— В обыкновенный! — презрительно бросает Ганка. — В «Арагви», например.

Мы с тобой переглядываемся. Нет, про этот «Арагви» мы знаем — сто раз проходили мимо по Горького. Оттуда выходили черноволосые, носатые, шумные солидные мужчины и пышнотелые нарядные женщины. Но при чем тут Гришка и я?

А Ганка продолжает свои фантазии:

— А что тут такого? Куда ходят приличные люди? Конечно же, в ресторан.

Мы пытаемся возразить, что приличные люди ходят на выставки, в театры и в кино. В крайнем случае в кафе-мороженое.

Ганка презрительно усмехается:

— Ага, вы еще забыли упомянуть библиотеку! Мужчина водит свою даму в рестораны, покупает ей цветы и духи. Возит ее на курорты, — продолжает ликбез наша Ганка. А мы растерянно хлопаем глазами и молчим, ни минуты не соглашаясь.

Ганка, Ганка! Она всегда мечтала о красивой жизни — так, как себе ее представляла. А что получилось?

Но после этого я немного задумываюсь: мой объект и вправду слегка нелеп — и внешне, и вообще. Гришка Рабинович из очень интеллигентной и нищей семьи — я видела его родителей. Мама преподает в медучилище, кажется, биологию, а папа служит в оркестре не самого знаменитого театра и вечно болеет — астматик. Плюс еще бабка и дед — в общем, им сложно. «Нищая советская интеллигенция», —

грустно вздыхает Гришка, явно повторяя слова кого-то из взрослых. Он носит коротковатые брюки с пузырями на коленях и довольно страшную курточку с короткими рукавами. Но как он умен, мой герой! А сколько он знает стихов! Это он, Гришка Рабинович, открыл мне Ахматову и Пастернака, Бродского и Рейна. Но в ресторан? С Гришкой Рабиновичем в ресторан? С нелепым, неуклюжим и неловким Гришкой?

От этих мыслей мне становится дурно. Да и откуда у Гришки деньги? Смешно.

И вот жизнь, да? Помнишь Гришку на нашем слете одноклассников на двадцатилетие школы? Помнишь, как никто, даже я, его не узнал? Как зашел в актовый зал невозможно элегантный и роскошный мужик — высокий, стройный, красивый. В шикарном твидовом пиджаке и умопомрачительных мокасинах, с дорогими часами на запястье, пахнувший неземным одеколоном? Еще бы — профессор Лос-Анджелесского университета! Мистер Рабин, ага! Мистер Грегори Рабин. Неплохо?

А на улице его ждало такси.

Ничего не осталось от прежнего смешного и нелепого Гришки. Ничего. Наверное, только мозги. И его добрая, бескорыстная душа. Помнишь, как он всем старался помочь? Дал денег Ганкиному отцу, дяде Боре. Ты тогда спросила, не жалею ли я. Он ведь и вправду был «тепленьким» — раз, и попался. Да, пой-

мать его было несложно. Но жалею ли я? Знаешь, мне сложно представить свою жизнь там, в Америке, с мужем-профессором. Даже почти невозможно. Вот эти его фотографии, помнишь? Трехэтажный дом из розового кирпича, ровнехонькая лужайка перед парадным входом. Кусты синей гортензии у крыльца. Дорогущая машина. Он даже смущался, показывая все это, — Гришка есть Гришка.

Нет, не жалею, Сонь! А не жалею потому, что никогда не представляла себе ту, другую жизнь и не мечтала о ней. Я про нее не знаю. Вот мне и легче, ага.

А ведь Гришка звонил мне еще года четыре, почти до самого своего отъезда, когда уже был Понаевский.

А твой герой, твой Фролов... Тоже личность, ха-ха! Глава ОПГ, каково? Что ж, вполне предсказуемо, а? Ну и итог его жизни — тоже можно было представить с самого начала.

Наш двор. Наши и только наши липы и тополя. Наша сирень, помнишь? Белая, фиолетовая, розовая. Как мы ее ждали! Помнишь, как ломали охапки и растаскивали по домам? Мама ругалась — куда? Ваз не хватало, ставили в банки. И запах сирени, невозможный запах сирени расползлся по нашим убогим комнатам, заполняя в душные кухни, пытаюсь забить, заглушить невыносимые запахи коммуналки — щей, жареного лука, бельевой выварки и всего остального.

Кому помешали наши липы, тополя, наша сирень? Варварство просто. Вам легче — вы уехали из нашего двора гораздо раньше, чем я. А мне пришлось наблюдать.

Наши семьи. Родители. Твои тетка и мама. Мои — мама, отец, бабуля.

И Ганкин отец.

Осталась одна моя мама. Все остальные, увы, ушли. Знаешь, я часто думаю о них — например, о твоих. Обе красавицы — и тетка Рая, и мать. И такие вот судьбы. И все-таки зря тетя Рая отвергла Ганкиного отца! Мы никогда не говорили с тобой на эту тему. А вот сейчас я решилась, прости. Тебе так не кажется? По-моему, он был не самым плохим мужиком? Ну да, поддавал. Но при его-то судьбе — похоронить любимую жену, остаться вдвоем с пятилетней дочерью. Кошмар. Он ведь и не женился ни на ком из-за Ганки! А тетя Рая ведь была своя, почти родная. Она бы Ганку точно не обидела. Зря она, зря. Чего испугалась? Уж точно не Ганки — она ее любила. Может, все вообще сложилось бы по-другому? Впрочем, история не знает сослагательного наклонения.

Помнишь, как после ухода Ганки дядя Боря страшно запил. Страшно, по-черному. Все повторял: «За что меня бог наказывает? Сначала жена в двадцать семь, потом дочь в двадцать пять. За что? За какие грехи и так страшно?» Бедный, одинокий старик.

Говорили, что дядя Боря никого не пускал — открывал только медсестре из поликлиники. Был у них какой-то пароль. А она потом разносила по двору — тараканы, клопы, смертный ужас. Он и мне не открывал — ну, ты знаешь. Я пару раз попробовала и поставила точку. А что я еще могла? А вообще-то кошмар.

Сколько этих кошмаров за жизнь, да? И ничего, пережили. Мы пережили. А Ганка нет.

Я стараюсь не смотреть фотографии, где мы все вместе. Невыносимо. Но иногда рука тянется сама, и я подолгу разглядываю наши славные детские мордочки, милые, лучистые, наивные. Прекрасные наши мордахи.

Это сейчас я шарахаюсь от зеркал, как от чумы. Нет, правда! Смотреть на себя не могу. А ведь была ничего, а, Сонь? Куда все делось! Да растащили! Первым был Понаевский. Уж он постарался. Вторым — первый мой, Галкин. Первый законный. Следующим — второй законный, Васильев. Ну а потом — все остальные. Все растащили, разграбили, уничтожили, как не было. Точнее, это я оказалась такой идиоткой, что позволила все растащить по кусочкам, по крошкам, по каплям. И ничего не осталось. И вот теперь я одинокая и ущербная, по мнению моей собственной младшей дочери Линки, всеми брошенная разведенка, почти старуха. Неужоженная и запущенная. Да-да, старуха — именно так Линка и считает. Для

нее наши пятьдесят два — глубокая старость, Сонь! Хотя... Мы в ее годы, помнишь, и сорокалетних считали старухами, что говорить.

Моя дочь меня презирает за многое, почти за все — за суетность мою, за тревожность, за вечное пустое беспокойство, за постоянную усталость. И правильно делает, кстати. Я себя тоже за все это презираю. Все я в жизни делала неправильно, все не так. Всё. И со всеми себя вела не так. Ты правильно говорила — я себя не любила. Вот оно, главное! Всех любила, кроме себя.

Дура, чего уж там. Моя дочь права. Но все равно от этого горько.

А у тебя получилось — в смысле, любить себя получилось. Твои слова: «Здоровая доза эгоизма еще никому не вредила!» Ты права. Поверь, говорю это с огромным восхищением — никакого сарказма. Я всегда мечтала научиться быть эгоисткой, тем более что рядом имелся учитель — ты. Но, как я ни старалась, не получалось. Думаю, с этим нужно родиться — с чувством собственного достоинства, которого у меня никогда не было. Всегда, всегда лучший кусок мужьям, детям, родителям. На себе сплошная экономия. Главный слоган, рефрен моей жизни: «Я перебьюсь». Маме нужно пальто, Линке — ролики, Асе — новые туфли. Первый муж копил на машину, второй мечтал о морском круизе. И у всех получилось — один купил машину, второй отпра-

вился в путешествие. Правда, без меня, ха-ха!
На две путевки денег не нашлось.

Вот жалуясь, жалуясь. Ты уж прости — знаю, как ты этого не любишь. Жалею себя, жалею. Реву. А ведь виноватых нет и искать не надо. Вернее, есть. Я. Только я одна, всё. Но жизнь-то прожита, и поэтому очень обидно. Знаю, ты сейчас усмехаешься, и ты снова права, как всегда. Жизнь, разумеется, в пятьдесят два не кончается. Но это у нормальных людей, к коим я себя давно не отношу. Поверь, это не пессимизм — это всего лишь горький реализм, констатация фактов. Я отлично понимаю, что у меня впереди, и иллюзий не строю.

Можно коротко. Неудачный брак Аси. Это уже всем понятно, только не ей, кажется, она все надеется. Дурочка, в мать. Двое внуков, которых еще нужно поднять. Линкины гадости — ничего хорошего я от этой стервы не жду. Это тоже понятно. Замуж она не выйдет — кто будет ее терпеть, с ее невыносимым характером, вечными претензиями ко всему свету, капризами, алчностью, нетерпимостью, даже злостью? И даже если найдется — случайно, конечно, — такой дурачок, то глаза у него откроются быстро, поверь. Сущность свою ведь не скроешь. Я ничего не преувеличиваю — даже кое-что опускаю. Матери сказать *такое* непросто, поверь. Но что я буду перед тобой валять дурака? В смысле — дурочку? И перед собой, кстати, тоже.

Мама. Здесь все понятно. Но и мои силы на исходе. А там все новые капризы, все новые претензии. Невыносимо. Мне ее очень жаль, безумно жаль! Но и себя мне жаль тоже. Вот, прорыв, Сонька! Я, кажется, научилась себя жалеть. Но все это от безысходности, только от нее. Чуть бы пораньше научиться жалеть себя, а? Когда еще все не так плотно сели тебе на голову. Ладно, хватит. Это уже перегруз для тебя, подруга. Я понимаю.

Давай лучше о прошлом — куда веселее. Правда, до определенного момента. Ну вот, опять сплошной пессимизм. Снова прости.

Почему-то я очень ярко помню несколько моментов из нашей юности. Например, Парк культуры — ты помнишь? Это было, кажется, второе мая, праздники. Да-да, точно — везде продавались воздушные шарики и гремела веселая музыка — праздник трудящихся, как же.

И вот мы, втроем. Рыжая бестия Ганка с шальными глазами и шальной же улыбкой. Я ловлю встречные взгляды. Мужики столбенеют, сбиваются с шагу, спотыкаются, краснеют и бледнеют. Еще бы! Вся она, наша Рыжая, сама не ведая того, всем своим отчаянным видом обещает райские кущи. Но такие опасные райские кущи! Ее яркая весенняя красота бьет в глаза, ошеломляет и немного пугает. К тому же она горда и независима, а это притягивает еще сильнее. На ее лице написано: «А мне на все наплевать!» Помнишь, как кто-то назвал

ее Лесной колдуньей? Кто — убей не помню. Кстати, а какие еще бывают колдуньи? Может, морские?

Потом взгляды переводят на тебя. И тут еще хлеще! Я вижу их лица — восторженные, но перепуганные до смерти. Еще бы! Твои гладкие, блестящие, черные, до талии волосы переливаются на солнце, сверкают, как антрацит. А глаза! «Твои зеленые глаза» — помнишь такую песню? Так вот, твои зеленые глаза тоже покоя не обещают, куда там! И добротой они, увы, не полны. Они яростно и возмущенно сверкают, обещая сплошные тревоги и неудобство. Но от этого и пробирает дрожь — я видела, как мужики замирали и не могли оторвать от тебя глаз. И твои строго, по-учительски поджатые губы и сведенные к переносице брови — твои соболиные, с отливом, длинные четкие брови, — обманка!

Ты их презирала — всех подряд, без исключения. И они это чувствовали и боялись тебя. Но еще и желали — больше всего на свете! Черт с ним, что потом — смерть, виселица, гильотина, вечная каторга. Ты заманивала, расставляла силки, одним взмахом ресниц рыла могилу. И все они, глупые и смешные, мечтали туда попасть.

Но была еще третья — я. И вот тогда-то, разглядев вас двоих, после паралича и остановки дыхания, они переводили взгляд на меня. И вырывался облегченный выдох: мы,

кажется, живы. Я, обычная, вполне заурядная и такая понятная, тут же приводила их в чувство. Милая блондиночка, ничего особенного, но все-таки милая, да. Хвост на затылке, пара непослушных завитков, заложенных за ухо. Серые глаза, нос, рот — все такое знакомое, среднерусское, как говорил Понаевский, помнишь? А я обижалась. Вот дура! Я всем была понятна, как дважды два. Я не пугала — таких девчонок море, оглянись вокруг: глуповатых, прыскающих в кулак от смущения, легко краснеющих, вечно хихикающих — своих. С этими дурочками можно целоваться в подъезде, пороть всякую чушь — которую ты бы, например, никогда не простила. С ними можно сидеть на последнем ряду в кинотеатре и мять их потную ладонь своей, не менее потной, класть им руку на колено. Они, эти дурочки, как бы им ни было тревожно и муторно, эту ладонь никогда не оттолкнут. Попробуй взять за руку тебя или Ганку! Даже представить страшно. Ганка укусит, а ты — ты обольешь таким презрением, как ошпаришь.

Так вот, глядя на меня, мужики тут же выдыхают, моментально успокаиваются, перестают чувствовать дрожь в ногах и холодный пот на спине. Они быстро приходят в себя и начинают нести свои глупости: «Девушки, девушки, ах, какие красавицы! А пойдете в кино! Там такая комедия с Луи де Фюнесом, просто шикарная!»

От слова «шикарная» тебя мутит, а Ганку воротит. А вот меня — нет! Что тут такого? Кстати, я бы пошла с удовольствием! А вы, ты и Ганка, презрительно фыркаете им в лицо, снова вводя их в анабиоз.

Вы гордо и быстро идете прочь. «Подальше от этих идиотов», — говорите вы. А что в них плохого? Лично я не заметила. Парни и парни. Обычные. Студенты. Лично я бы с ними и в кино пошла, и куда б ни позвали. Но я фыркаю вместе с вами, подпеваю вам, подыгрываю, словно я такая же, как вы: красивая, умная, гордая, неприступная.

Но я точно знаю — я не такая. И еще точно знаю — мне надо стремиться к идеалу. А идеал — мои лучшие подружки.

Мы ели мороженое, катались на каруселях, толкались в комнате смеха у кривых зеркал и помирали от смеха. Кривые, косые, толстые, худые, перекошенные. Как же мы ржали, помнишь?

А потом сели в шашлычной. Конечно, деньги, как всегда, были у Ганки, потому что дядя Боря ей ни в чем не отказывал. Она небрежно махала рукой:

— Это все от комплексов, девочки! Снова бабу завел, дома три дня не ночует. И слава богу!

Итак, мы сели в шашлычной. Стеснялись. Даже вы с Ганкой стеснялись — ведь мы играли во взрослых. А взрослыми не были — со-